



# ШАХМАТЫ



Страсти человеческие

Сборник  
**Шахматы**

«Спорт»

2014

ББК 47.2.1.1.1

**Сборник**

Шахматы / Сборник — «Спорт», 2014 — (Страсти человеческие)

ISBN 978-5-906131-37-9

Русские писатели – об игре в шахматы.

ББК 47.2.1.1.1

ISBN 978-5-906131-37-9

© Сборник, 2014  
© Спорт, 2014

## Содержание

Александр Куприн	6
Марабу	6
Леонид Леонов	12
Деревянная королева	13
Владимир Набоков	22
Защита Лужина	23
Конец ознакомительного фрагмента.	40



## Шахматы Сборник

*Серия*  
«СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»

*Руководитель проекта*  
Валерий ШТЕЙНБАХ

*Оформление*  
Филипп БАРБЫШЕВ

В книге использованы репродукции картин и рисунков русских и зарубежных художников XIX – начала XX века.

## Александр Куприн



### Марабу

Я объездил Швецию, Норвегию, исколесил Германию, забрел в Англию, долгое время шатался по грязным римским улицам и, наконец, после двухлетних скитаний, попал опять в Россию.

Был я тогда волен, как дикарь, ни с кем не связан, частенько голоден, и слонялся по улицам большого южного города, дыша полной грудью и приветливо улыбаясь небу и солнцу.

Так-то вот однажды, бездельничая, забрел я в большое темное кафе, спугнул дремавших в первой комнате лакеев и прошел дальше в дверь, из которой несся едкий запах табачного дыма и скверного кофе.

Войдя в маленькую, запущенную, плохо освещенную комнату, я сделал шаг и остановился, пораженный.

В клубах дыма, за массой пожелтевших мраморных столиков сидели молчаливые странные фигуры и, опустив длинные носы на столы, думали.

Согнутые плечи, странные воротники в виде мохнатых пелерин и важный сумрачный вид – все это удивительно напоминало мне ряд таких же птиц с длинными носами, воротниками вокруг длинных голых шей, сидящих с таким же глупо-унылым видом – птиц марабу.

– Марабу! – весело и приветливо воскликнул я.

Фигуры не пошевелились, но от вешалки отделился темный швейцар, похожий почему-то тоже на подержанного марабу, и сиплым голосом ответил:

– Их нет-с!

– Кого нет? Марабу?

– Так точно. Мы всех знаем. А эти не бывают.

Мне было беспричинно весело.

Я подошел к длинноносому, запыленному старику, спрятавшему согбенные плечи в разбухший воротник пальто, и, хлопнув его по плечу, отчего столбом взвилась пыль, громко закричал ему на ухо:

– Марабу!

Старик пугливо пошевелился, посмотрел на меня выцветшими глазами и, переведя их на своего соседа, пропищал:

– Ходите!

Все марабу, кроме швейцара, сидели за шахматами. Некоторые не играли, но, сидя сбоку играющих, тоже сутулились, кивали длинными носами и, не мигая, смотрели на фигурки из желтого и черного дерева, расположенные в странных, непонятных для меня комбинациях.

– Марабу, – рассмеялся я. – Ха-ха! Марабу!

После Англии, Италии, всего широкого, безграничного света и простора, мне показалась неимоверно странной и дикой, какой-то будто выдуманной – эта темная комната, наполненная молчаливыми, сгорбленными птицами с длинными свешивающимися носами, в облаках серого, зловонного дыма.

Я взял свободный стул, протиснулся среди двух закопченных зрителей и, уткнув свой нос в доску с точеными фигурками, тоже постарался вообразить себя на несколько минут птицею марабу.

По слухам мне было известно, что существуют ферзи, кони, туры и пешки, а по странной привычке прочитывать от безделья всякий вздор я часто на последних страницах газет просматривал загадочный для меня шахматный отдел, удержав в памяти, что почти всякая партия начиналась с таинственного хода: пешка e2 – e4.

Один из игроков, среди молчания, тихо поднял руку и переставил маленькую штучку вперед на одну клетку...

Все зрители и партнер сосредоточенно зашевелились, а я, прищурился критически глаз, громко сказал:

– Ну и ход!



И все медленно обернули свои носы ко мне, а у одного из партнеров шея во время поворота как будто бы даже скрипнула.

– Марабу! – заявил я. – Вы сделали скверный ход.

– Будьте добры не делать громких замечаний и не давать советов, – жалобно пропищал один из игроков.

– Мне обидно, что этот господин сделал ход, который через шесть ходов принесет ему большой вред!

– Молчите!

– Мне что же... я замолчу...

И опять мертвенная тишина нависла над желтыми мраморными столиками.

За соседним столиком один из играющих поднял желтую, коленчатую, как лапа марабу, руку и подвинул какую-то фигуру. Нужно мне было и туда вмешаться.

– Боже!.. – воскликнул я в ужасе. – Что он делает! Что этот человек делает?!

– Не мешайте! Неужели вы не знаете, что посторонние не имеют права вмешиваться в игру?

– В игру? Я это знаю – в игру. А это? Разве это можно называть игрой? Позор какой-то!

– Молчите.

– Молчу.

Комната казалась мне большим кладбищем. Покойники вылезли из могил и затеяли страшную, молчаливую игру, запрятавшись в свои воротники.

– Марабу! – заявил я. – Для такой скверной игры вы слишком много думаете. Надо вам быть веселее!.. Ну, что вы, например, старина, сделали за ход? Вам нужно было коня вот сюда поставить.

Один из игроков нервно качнул головой, а другой, сделавший ход, досадливо возразил:

– Как же его сюда поставить? Ведь он будет убит пешкой!

– Пусть. Эка важность!

– Для вас, может быть, не важно, а я коня даром потеряю.

– Нет, не даром. Через десять ходов вы будете иметь громадное преимущество в положении. Этот гамбит был в варианте самого профессора Лобачевского.

– Ну, я так далеко не заглядываю...



– Напрасно.

Один из следивших за игрой с любопытством взглянул на меня и сказал:

– Вот там освободился столик... Не желаете ли, сыграем с вами партию?

Я важно поднял голову, подстрекаемый неугомонным бесом шалости, и сказал:

– Если вы играете так же, как эти господа, то я отказываюсь.

– Почему?

– Потому что с людьми, шьющими сапоги, у меня очень определенные отношения: я им только заказываю обувь и ни в какие другие игры не вступаю! Впрочем, чтобы развлечься, я покажу вам настоящую игру: пусть десять лучших игроков играют против меня одновременно на десяти досках. Не велик будет для меня труд выйти победителем...

Мой собеседник изумленно посмотрел на меня и, вздрогнув, спросил:

– Скажите... как ваша фамилия?

– Видите ли... пока что мне не хотелось бы открывать фамилию по причинам деликатного свойства.

– И вы предлагаете играть с десятью из наших игроков одновременно?..

– Безусловно.

– Но известно ли вам, что некоторые из них брали призы на петербургских состязаниях?

Я пожал плечами и ответил тоном невероятного презрения и высокомерия:

– О! Мне это совсем безразлично.

В последних словах я был совершенно искренен: это мне действительно было безразлично.

Господин, беседовавший со мною, встал и громко захлопал в ладоши.

Марабу зашевелились, подняв носы.

– Господа! Вот этот молодой человек предлагает играть с десятью игроками одновременно!

– Даже с двенадцатью, – равнодушно сказал я.

Все пришли в движение. Многие из играющих встали и подошли ко мне ближе, уставившись в мое лицо с диким изумлением.

– Кто вы такой? – спросил один старик, уткнувшись в меня тусклым от лет и Шахматов взглядом.

– Не все ли равно? Игрок!..

– И вы будете играть одновременно с двенадцатью?

– Добавьте – с такими игроками, как ваши чемпионы, – презрительно сказал я, скрестив на груди руки.

Несколько человек из играющих записали свои партии, пошептались и, подойдя ко мне, заявили:

– Мы согласны!

Комната приняла оживленный вид. Все марабу побросали свои столики, вытянули из воротников голые длинные шеи, захопотали, забегали... откуда-то появился лист бумаги, и на нем некоторые марабу стали записывать крючковатыми руками свои фамилии.

Я сидел за одним из столиков, окруженный вплотную волнуемой, говорящей толпой, и равнодушно курил папиросу, поглядывая на потолок.

В стороне несколько человек суетились, занятые устройством одного общего стола и установкой двенадцати досок.

Какой-то молодой человек в рыжем галстуке, очевидно, неопытный, скверный игрок, оглядел с суевренным ужасом все доски и, подойдя ко мне, сочувственно, с влажными глазами, пожал мою руку.

– До свиданья, – сказал я просто.

– Нет, не до свиданья... Но я очень вам сочувствую... Одному против двенадцати! Это гениально! Неужели вы выиграете?

Я дружески похлопал его по плечу.

– Ничего, старик, приободритесь. Дело не такое страшное, как вы думаете. Что, господа, готово?

– Готово. Играющие, прошу занять ваши места. Пожалуйста, милостивый государь!  
Роль арбитра принял на себя старик с тусклыми глазами. Он усадил игроков по одну сторону стола, а мне указал на другую сторону, где не было стульев.  
– Пожалуйста! Вам придется ходить, следя за ходами, от этого края до этого.  
– Не желаю, – ответил я гордо. – Я играю, не глядя на доску. – И отошел в самый дальний угол комнаты.



Двенадцать отборных марабу сели, как дрессированные птицы, строго в ряд и сейчас же уткнули профессиональным жестом носы в доски.

– Первый ход ваш, милостивый государь, – обратился ко мне тусклый старик.

Мне казалось, что моя шутка доведена до конца. Марабу, чего мне и хотелось, выведены из своего дремотного состояния. Но как мне сейчас уйти от них, – я не мог придумать.

В запасе у меня был первый ход, оставшийся в памяти от загадочных газетных шахматных отделов, и я воскликнул повелительно:

– Господа! Первый ход: е два – е четыре. Прошу вас – сделайте за меня.

Двенадцать рук поднялись к фигуркам, и двенадцать фигурок на двенадцати досках выдвинулись на две клетки вперед. А шершавый и тонкий голос первого партнера справа заскрипел: «е семь – е пять».

Я внимательно смотрел издали на доски и, ничего не поняв, призадумался. Кажется, пора уж мне было обратиться в бегство. Но, иронически пожав плечами, я решительно заявил:

– Бе один – бе три...

Все глаза изумленно поднялись на меня.

– Вы, вероятно, хотели сказать: бе один – це три?

– Я хочу сказать то, что считаю необходимым, – сухо процедил я сквозь зубы.

– Но такого хода не бывает!.. Конь не может же быть выдвинут по прямой линии!

Я ядовито улыбнулся.

– Да? Вы так полагаете? А знаете ли вы, что таков гамбит Марабу?

Комната загудела:

– Такого гамбита нет!

– Не-у-же-ли?.. Вы здесь сидите в этой скверной, прокопченной дымом дыре и, забыв все на свете, в тупой косности махнули рукой на все завоевания, сделанные за последнее время в этой великой, хитроумной, благородной, истинно королевской игре, именуемой шахматами...

– Он сумасшедший, – сказал кто-то из угла.

– Сумасшедший! – сердито закричал я, бешено вскакивая. – Да! Во все времена, во всех случаях всех новаторов, изобретателей, пророков, мучеников науки, философов называли сумасшедшими. Но что от этого изменилось? Остановился ли прогресс? Эйфелева башня по-прежнему сияет недостижимой высотой, и подземные железные дороги все более и более опутывают земную кору железной сетью. Я утверждаю, что гамбит Марабу существует! Он разрешает делать ход конем по прямой линии, и, если вы отказываетесь признавать его – я брошу вам в лицо гласное, громкое обвинение: угрюмые кроты, скрытые трусы, совы, испугавшиеся свежего потока воздуха и снопа солнечных лучей, ворвавшихся в моем лице в мертвую, застывшую атмосферу тления и праха! Нет! Довольно... На воздух отсюда!

Под негодующие крики и вопли десятков голосов я спокойно и хладнокровно подошел к вешалке и оделся.

Несколько марабу прыгали вокруг меня, размахивая руками, точно крыльями, и визжа заржавленными голосами, но я, не обращая на это внимания, надел шляпу, строго и спокойно выпрямился и не спеша прошел через мрачную, темную комнату, населенную обычно странными, дремлющими человекоподобными птицами, которые пришли теперь в бурное, неопи-сваемое волнение.

Свежий воздух улицы любовно принял меня, и, сладостно зажмурившись, я засмеялся высокому солнцу.

1909

## Леонид Леонов



## Деревянная королева

### I

И уж конечно, ничего тут чудесного нет.

...Ночью однажды сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами, – повторял стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamede» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.

Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна.

И как будто кто-то играл на флейте, и, возможно, флейта играла сама.

Эта партия, игранная в Авиньоне лет семьдесят тому назад, была, пожалуй, самой изящной у Стаунтона. Атака белых коней, после внезапного нападения черного ферзя, была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так хорошо и магически вплетаются друг в друга... А самая середина партии, когда черные выправляют свои смятые пешки и черная ладья, пользуясь замешательством неприятельского фланга, выплывает с b8 на b4 и уводит белого коня, – это ли не вагнеровский лейтмотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?

Самовар вздыхал начищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной тоски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятно диким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда, – правда, рискуя катастрофой, – можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закулив папиросу, устремил глаза за окно.



...Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи. И уносились и набегали новые, и весь тот снежный поток как флейта был. И странно, что многие в

городе бессознательно слышали ту смеющуюся флейту, кроме одного лишь Владимира Николаевича.

Внимание его было поглощено белой пешкой, – в ней лежала причина некоторых осложнений и туманности, но уже и теперь становилось ясным: с4 било f7, а g7 черных...

Вот тут-то Владимир Николаевич пристальней взгляделся в ночь и лишь теперь неожиданно услышал тихий, влекущий в равнины декабря свист метельной флейты. И случилось так, что это напомнило ему письма тоненькой девочки Мариан-ночки, которая за год перед тем под лиловой шалью пробежала мимо его сердца. Владимиру Николаевичу живо вспомнились глаза и губы в особенности, которые на всю жизнь так и растворились в пенье снежной флейты.

Но тотчас же вслед за милыми губками Марианночки почему-то припомнился хитроумнейший вариант Морфи, и тогда Извеков одной насмешливой улыбкой смел всю эту розовую муть с души, как лужу метлой с тротуара, а Стаунтон, по совету непогрешимого Морфи, прыгнул конем вперед и угрожающе поднялся на дыбы перед самым носом ошарашенного короля.

И снова запела флейта. И, покоряясь чему-то, что было прежде, а теперь ушло, Владимир Николаевич подошел к окну и стал смотреть.

Между домами, – в их низкие и вторые этажи поглядывали заплывшие метелью желтые глаза, – неслись, разбрызгивая синие хлопья по сторонам, снежные табуны, увлекая в ледяную муть беззвездной ночи весело кувыркающихся слонов...

Потом проскользнула, кружась неистово, узорчатая вся, как клубок снежного кружева, башня под самым окном. И опять кто-то затерявшийся среди той метели повторил знакомую мелодию, устремляя бескровные губы к флейте.

Стало вдруг необычайно хорошо, – не потому ли вдруг оборвалось медное курлыкание самовара? И взамен его тихий женский смешок пробежал по комнате, вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся, – но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся вовсю...

...А флейта все пела. Пробежала по ней белая рука вперед, убежала назад...

Он отчетливо приметил, как, перебежав на b7, передать хотела черная королева крошечную записку беленькую чужому офицеру, покуда за резной башенкой наклонял лысую, в короне, голову над рыженькой толстушкой, которых на шахматной доске ровно восемь у него, черный король... Едва успел: тотчас закаменело все, и за шелковыми складками королевиной платья испуганно спряталась тонкая ее точеная рука, – сдвинулось, вздрогнуло и замерло так.

...Взмахом белых рук за окном оборвалась флейта, и на некоторое время снова, унылый и одинокий, затянул прерванную песню самовар. Только две вещи и запомнил тогда Владимир Николаевич, – первое: глаза королевы своей – быстрые, глаза метели снежной, в которой столько всегда разных равно близких сердцу глаз, но среди них – одна... И второе: фигуры на доске оказались расставленными именно... Это было поразительней всего, – Владимир Николаевич ясно своими глазами видел то, о чем не мечтал Стейниц и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, чем самый искрящийся, внезапный, как водопад, гамбит Эванса. То было неизвестное еще положение в игре офицера и королевы... Легко было запомнить: королева на d2 и с нею рядом, на одном ходе коня, чужой офицер. Неразрывные, как якорная цепь, пешки бегут в атаку, погибают две, и через три лишь хода тот же офицер, который прятал любовную записку, шахует растерявшемуся королю.

И опять флейты.

Недоверчивым взором ощупал Извеков и эти четыре крупно разросшихся стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да, – он сам теперь, Владимир Николаевич Извеков, стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, подержал незаметно у сердца и, едва скрылась та в треугольном, с отворотом, кармане его камзола, полностью осознал всю непоправимость происшедшего превращения. Было отчего прийти в ужас: он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновение, и сознание начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная его рука, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком исчезающей воли вырвались у него четыре деревянных слова:

– Нет, не хочу, нет...

Теперь уж совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, возникший было острый угол стал тупым и пропал, уничтожился на одной прямой в ничто. Нечто качнулось, как цветок, и снова треугольником стал нечаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехноглом, – а четвертою хозяйкино ведро, – кресле и как будто задремавшим даже. Он протер глаза, припомнил, попытался улыбнуться витиевато проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматной интриги.

Метель стихала, тикали на стенке часики. Остекленевшим, замороженным глазом глядел в спину Владимира Николаевича фонарь с улицы сквозь затянутое легким ледяным кружевом стекло. Метель стихала, но красный спирт на шкале за окном все ниже прятался в свой стеклянный шарик. А на полу, возле самых ног, упавшая оттуда, белела записка. И в ней, как признак свершившегося безумия, – слова:

«Освободите, хочу всегда с вами быть. Рвусь к вашему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня родной, – все они, кругом, деревянные...»

## II

Борис Викторович Коломницкий был, во-первых, музыкантом и еще страстным любителем всяких шахматных несообразностей, а во-вторых, веселым и верным другом, хотя немножко с язычком. Именно по долгу дружбы он и состоял давним и терпеливым поверенным немногочисленных тайн Извекова.

Было уже поздно, Борис Викторович лежал в кровати и держал прямо перед носом у себя обрывок газеты, в ожидании, покуда вчерашний суп разогреется на керосинке.

Было поздно, близ двенадцати уже. Сквозь оловянное стекло непреодолимой дремоты старался Коломницкий проникнуть в таинственный смысл некоторых слов, стоящих на газетном том клочке:...экстра файн... 22.10... фулли – гуд – фер... 19.10... Конечно, – если бы не дремота эта самая, – несомненно, сразу же сумел бы он понять, что это просто-напросто сводка хлопковых цен на июль. Но дремота удаляла типографские знаки далеко-далеко, – верст на двадцать, и потом начиналось их обратное непреодолимое наступление, пока не заполняли всего сознания, пока не падала оцепеневшая рука... А спать было еще рано.

Тут-то и вошел Владимир Николаевич, и побежденный, скомканный клочок газеты полетел в темный пыльный угол, где желто-красный живот свой выпятила виолончель.

– Я, Борьк, к тебе, вот.

– Эге, понимаю. Кто она и сколько?

– Да нет, деньги у меня самого есть: получил сегодня... Тут вот книжку, которую ты разыскивал, принес.

– Купил?

– Купил...

– А когда покупал, – Коломницкий сурово поглядел на Извекова, но за серьезным взглядом его прыгали озорные черти безудержного смеха, – не спрашивал ли тебя приказчик: не задумал ли, мол, Коломницкий жениться?

Извеков руками всплеснул:

– Вот что значит одного тебя оставлять. Да ты, отец, совсем у меня свихнулся!

Тот сел на кровать и протер кулаками глаза:

– Угу, непотребно это, братик, одному быть! Каждый молодой, правильно сделанный мужчина обязан, понимаешь ли, когда-нибудь полюбить. Что есть человек без любви? – Коломницкий отвел указательный перст правой руки в сторону. – Микроб двуногий или глупая зеленая водоросль.

Коломницкий опустил выпуклые свои смеющиеся глаза вниз и тяжело вздохнул:

– Ты вот что, Володьк, – ты знаешь, какой слух ребята в консерватории про меня пустили? Будто я с виолончелью живу, понял? А тут девушка, умная, очень даже ничего себе, но ты не беспокойся: до свадьбы не познакомлю!

Владимир Николаевич заугрюмился:

– Шахматы где у тебя, тарантул?

– Вон, в углу. Столик вчера опрокинула хозяйка, – разбежались, как тараканы... Поищи, коли нужда есть!

Владимир Николаевич заползал по полу, пошарил рукой под кушеткой, вытащил коня, стал расставлять фигуры.

– Борьк, тут пешки одной нет!

– Белой?

– Белой.

– В постоянном и безвестном отсутствии. Не огорчайся, замени пробкой... пустяки!

Владимир Николаевич начал с муциевского гамбита, выбросил слона, отдал коня и рокирнул... Коломницкий помычал, взглядом проскользнул зорко по доске и вот подошел, стал глядеть.

Извеков вел умело. Трах – ладья перескочила за борт, прямо в лужу вчера разлитого чая. Раз-два-три – белые слоны топчут правый фланг черных, король с d7 снова возвращается на d8 и опять выплясывает там свой убогий королевский танец на месте под кривыми кнутьями враждебных коней. Еще два хода – e4 бьет g5, – слон растаптывает пешку на пути ферзя, и вот...

Коломницкий был изумлен. Больше того, – он был подавлен и как-то по-собачьи ласково заглянул Извекову в глаза.

– Слушай, но ведь это же невозможно! Постой, слон бьет g5... Да ведь пойми ты, сам Филидор взлетел тут на воздух со чадами и домочадцами своими!.. Ведь это все равно что живую Венеру найти... паровоз изобрести! – Коломницкий был вне себя, восхищение как-то придавило его.



...Тихая начинала журчать поземка в улицах, разливалась луна, безбрежно и широко, – и, как острова в ледяном лунном половодье, торчали в черном небе метельные облака.

– Вот что, Извеков! Я четыре месяца добивался вот этой самой раскладки фигур. Мне давно уж казалось, что должно же и в шахматах быть такое положение, когда женщина изменяет только ради самой измены, в которой тайна и разная там магия... Да нет, – ты что, сон, что ли, видел шальной?., ты, по крайней мере, понять-то меня способен?

Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку, – и ничего бы не случилось тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул приятелю руку открыто, как протягивал сердце свое в течение долгих лет, и тот взял нерешительно.

Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил, досадно и враждебно усмехнувшись:

– И ты с ней давно знаком?

– С кем?

– С Анкой...

– Кто?

– Ты.

– Да я совсем никакой Анки не знаю... Ты с чего нахмурился-то?

Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:

– Ты-то, конечно, ни при чем тут! Все дело в том, что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча. Здесь и буквы ее внизу: А. и R, и почерк ее. Для меня это удар, признаюсь...

Извеков тупо глядел на приятеля, плохо понимая происходившее, но что-то уже начало его раздражать. Потом догадался, покуда Коломницкий молча жевал папиросу, и принялся горячо, но сбивчиво рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще подобную же чепуху... Говорил искренне, не скрывая ни слова, чуть не целых полчаса говорил. Но когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир-Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:

– Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду ужинать, еды у меня на двоих не хватит, а потом я спать лягу.

Владимир Николаевич был очень душевный человек.

Он постоял еще минутку для приличия, надел не спеша шубу, вздохнул поглубже и вышел, не прощаясь, вон.

...В переулке со снежных гор, будто на весело хрустящих полозьях, соскальзывали лунные тени вниз. Было очень свежо и приятно. Выходило, будто луна пробивалась сквозь мех и знобяще прилегала к спине, – это бодрило походку. Хорошо, когда скрипят шаги по целине и собственная тень, как верная собака, бежит впереди, головой нащупывая каждую в дороге выемку.

Но плохо чувствует себя человек, возвращаясь после обидной неприятности в свое пустое, неприятное жилье.

### III

Еще не раз, в вечерах, все той же метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная королева, обозначавшая себя в записке тонкими, без нажима, буквами: А. и Р. И всякий раз, когда ходом коня становился он на шахматную клетку рядом, успевал поймать один лишь ее беглый и ставший милым взгляд. Но едва усилием воли пытался продлить свое деревянное счастье, молниеносно делался треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол иной математической яви, и выпадало тайное из цепи звено. Он просыпался из сна в наш, этот сон, и снова застревал в гуще житейских мелочей и воспоминаний неуголенной минуты.

И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, необыкновенная, как семибашенный дворец. И стала душа его жить в этом здании, и было ей очень хорошо.

...Днями бегал по урокам. Вечерами же иногда, если метель пушила, клал на раскрытую ладонь свою деревянную королеву и ждал, не расцветет ли дерево это под его горячими глазами цветами алыми или голубыми, подобно библейскому Ааронову жезлу.

Но чаще молчало все, не просыпалась в точеных изгибах вещи ее деревянная душа. Вечер проходил и записывался в памяти чернильным лиловым карандашом – пустота.

С Коломницким порвалось все само собой, раз не верил тот ни в чох, ни в рыбий глаз, а Извеков, выходило, верил. Из десятых уст слышно было, что тот пьет, из восьмых – разрабатывает какое-то невероятное шахматное контрположение, из четвертых – что сильно обтрепался и еще больше порыжел... Потом все стихло.

Покуда распевал то глуховатым баритоном, то медным тенорком самовар на столе, по-прежнему садился у окна и, когда начинали разбрызгивать снежную мусть тени белых, в синих яблоках, коней метельных, а флейта – петь, караулил минутку, когда возникнет вдруг из ничего тот тайный, радости пресветлой угол, который Коломницкий чоху и рыбьему глазу приравнял, – не вплетется ли в цепь знакомых и адски надоевших колец королевинаго пробуждения звено.

И в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде – ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, где стирала белье толстая ведьма Наталья.

– Она выходила отсюда, ты видела? – допрашивал Владимир Николаевич, стараясь заглянуть в глаза.

Ведьма ниже наклонилась к корыту и сумела только промычать:

– Да не-ет... никто вроде не выходил, не замечала.

Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать.

- Заходил ко мне кто-нибудь? – Чуть руку ей не вывихнул Извеков.
- Тот рыжий, товарищ твой, был. Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол.
- Долго пробыл?
- А кто ж его считал? Не раздевался...
- Купил он тебя, ведьма!
- А ты подсматривал?

Ну конечно, это был Коломницкий, – он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королева душа. Извеков застонал тут особым проникновенным манером и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколотая к обоям ржавым пером:

«Ухожу вместе с ней. Нужно было на ф6, конем, чудило! Ты меня не разыскивай, – не вводи меня во искушение».

Владимир Николаевич раза четыре схватывался за голову, потом два раза за одну мысль дурную, которую родило отчаянье, потом за шапку и вылетел на улицу, оставляя за собой дребезг опрокинутого стакана, хлопок откинутой наотмашь двери, на которой остался, вероятно, добрый след извековского локтя, и жалобный взвизг подвернувшегося по дороге пса.

...Влажные, слегка оттепельные сумерки действовали на него благотворно, хотя и медленно. Часа полтора он рассеянно скользил по переулкам, погруженный в разрешение какой-то задачи – шахматной, конечно, – смысл которой представлялся ему теперь смыслом всего его пребывания на земле. Эта убийственная растерянность не покидала Владимира Николаевича вплоть до той минуты, пока он не столкнулся с фонарным столбом. Плохо соображая действительность, он приподнял с извинением фуражку и направился домой.

Ночь подкрадывалась, как черная кошка, невидная, неслышная и близкая совсем. По небу разлеглись низкие облака, похожие на кошачьи хвосты. На душе скребли кошки... У самого подъезда тощая черная кошачья тень скользнула через дорогу. Владимир Николаевич плюнул ей вдогонку, – снова такая гнусная тоска заполнила душу, в пору хоть шахматную доску сгрызть.

Вошел в комнату, – Наталья неодобрительно и обидчиво выпятила губу, – бросился в кровать, схватил зубами подушку и продырявил новую наволочку насквозь. Горю его не было предела, а зубы были молодые и острые.

#### IV

И вот началось...

Добрая старушка, которая в письмах своих ласкала дорогого и единственного Володеньку своего старческими нескладными словами, как умела, не опознала бы его теперь: осунулось лицо, а нос заострился, а глаза стали подозрительными и острыми, и щетка волос на подбородке придала всему облику его какой-то серый, бродяжий налет.

Вечера напролет упорно бродил он по сумеркам, перебежал улицу, заглядывал в темные лица встречающих, подглядывал в чужие окна, – искал. Не сомневался, что это совсем рядом, так что, если чуть волю поднапрячь, как при утерянном ключе вскрывают дверной замок, он сразу ворвется к ней в ту мнимую математическую даль.

Еще совсем недавно, четыре дня назад, встретил Владимир Николаевич ту, кого искал. Снова клубилась метель, самая большая в той метельной зиме, белые столбы шли очередями, и в каждом столбе глаза – выбирай! Вдруг она прошла мимо, а с нею два офицера, вплотную, как конвой, шли по сторонам. Один, конечно, Коломницкий, другой – тот шахматный, строгий, как секундант, потерявшийся у Извекова недели еще три назад.

Они шли, как плыли. Прижавшись к стене, проводил их Владимир Николаевич глазами, услышал, как звонкие хлопы смеха королева прореяли над его сердцем и растаяли в крутя-

щемся столбе; деревянное лицо крайнего обернулось на мгновение и исчезло во мгле... И вот далекая, из серых, зыбящихся круч, опершихся в дрожащие крыши, донеслась поющая флейта.

Когда услышал, бросился вдогонку, но колючий вал мокрых, иступленно сомкнувшихся в призрачную лавину хлопьев залепил глаза и уши... Очнулся и опять ринулся было вперед, но синее и визжащее встало перед самыми его глазами на дыбы, простирая высоко над домами снежные когтистые лапы. Владимира Николаевича, по счастью неврежденного, вытащили из-под колеса...

В другой раз видел ее на улице. У магазинной витрины, призрачным силуэтом отразась в зеркальном стекле, поправляла шляпу.

...Потом однажды, поздно, она переходила улицу, близкая до боли, под руку с высоким стариком, а смех ее был как фарфоровый шарик на веселом серебре.

Тогда, сильные от морозца, попугивали запоздавших старушек автомобили на перекрестках и оглушительно звонили трамваи. Мучила навязчивая мысль, почему каким-то пятидесяти разнокалиберным людям потребовалось именно в этом трамвае именно в этот час ехать в одну и ту же сторону... Тогда зажигались на большой улице среди клубящихся метельных валов – дуговых фонарей молочные шары. И непонятно было, где была записана их идея до того, как они повисли в этой снежной высоте. Так потихоньку Владимир Николаевич сходил с ума.

## V

В тот именно вечер пришла Извекову новая мысль. Он в подробностях представил себе шахматную расстановку, когда королева, играя с ближним офицером, Коломницким, не замечает угрозы от другого, тоже на ходе коня. И тут прояснилась наконец полная позиционная уязвимость его соперника.

...Извеков бежал домой, натываясь на прохожих, на встречного ветра живые валы, – размахивал руками... Лишь в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, не раздеваясь присел к шахматам.

Вместо отсутствующего ферзя в клетку королевы встала притертая от графина пробка, вместо Коломницкого – огарок стеариновой свечи... дуэлянты встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невидно стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул, игра началась.

Опять метелило в переулке. Заволокло окно морозной занавеской с той стороны, но смахивалась наотмашь от легчайшего прикосновения торопившихся мимо теней. Иные приникали на мгновение к самому стеклу в намерении заглянуть вовнутрь и, как-то так получалось, все теперь, не только один успех любовный, зависело от того, как растасуются фигуры на доске.

Белый конь вышел вперед. Стеариновый огарок отступил и телом своим прикрыл притертую стеклянную пробку. А8 сделала набег на а5, заворочались белые слоны... Королева уводит пешку с доски прочь. Конь убивает вторую пешку, и потом еще одну, и еще.

Владимир Николаевич не выдержал, – тому, кто незримо стоял у стенки, прислонясь к дверному косяку, просмеялся он тихо:

– Что же вы меня на простака-то ловите? Не раскаяться бы...

...Стало очевидным: нужно было изолировать королеву, удалить метким ударом Коломницкого с доски.

Извеков разогрелся и сбросил шубу с плеча, а голова работала все отчетливей. Противник отступал, метался, и – странное ощущение – с каждой мельчайшей передвижкой на доске менялись сочетанья каких-то более значительных узлов, перемещались где-то вдалеке глыбы времени и враждебных воль, и вот уже судьбой становилась пустяшная, казалось бы, игра.

Тут всклокоченный, над доскою, человек напрягся до последнего предела, – что-то грозило лопнуть... двадцать два, двадцать три. На двадцать четвертом ходу белый конь безошибочно шагнул на д6, а двадцать пятым ходом черная шахматная ладья, угрожая спрятавшемуся

королю, опрокинула Коломницкого и... Все было кончено, трехходный мат был ясен, – филидорская развязка!

...Вяло склонился в кресле, и сразу стала душа его как пустая зеленая бутылка, а глаза сомкнулись, будто стопудовая усталость опустилась на веки ему. Потом сдвинулись два разных пути, и обозначился угол... а возле самого уха заколебался близкой флейты свист. Потом все переместилось, и в тишине прорисовался только что выявленный оттуда женский тихий смешок...

Он повернулся так, что скрипнули все три кресловых ноги, раскрыл все свои сто тысяч глаз, и нестерпимая сладость вновь отвоеванной близости облила его холодным потом с головы до ног.

Она стояла возле, в черном вся – столько раз желанная, выигранная и не достигнутая никогда, метельные глаза остановив на нем. Сердце его потянулось к ней, – он рванулся, он схватил ее руку, гладил точеную милую ее ладонь и пальцы, Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, бормотал ее, – одинаковое с начала и конца, – Анна, родное имя, – и еще какой-то причудливый любовный вздор, чудесно вплетавшийся в пенье флейт над головою. Партия была закончена, дальше начиналось счастье.

Почтительно раздавшись, взирали на них остальные фигуры с доски, немые от волнения, тронутые длительностью поединка, глубиной верности и чувства, заслуженно увенчанного победой. Для полного блаженства нужно было теперь только остаться навсегда в их кругу и все глядеться в очи любимой, покамест пальцы иной судьбы не разведут их, бедных деревяшек, для новой игры.

Едва подумал, тотчас же заостенело все кругом, прежде всего – остановленное блаженством время, и вот еще не изведенная немота стала вливаться в его затекшее тело. Живыми пока глазами смотрел он на свою, достигнутую, из облакавшей его тело древесины, – скованная рука уже не тянулась к ней...

Тут рывком потухающего сознания он раздвинул смыкавшийся угол, и тот послушно исчез на прямой. Деревянным смехом рассмеялись где-то за обозначившейся вдруг стеной уходящие флейты. И ничего не стало.

Владимир Николаевич раскрыл глаза, пощурился на окно, прислушался к самоварной песенке, в раздумье и не без сожаленья разжал ладонь – там лежал шахматный, деревянный, согретый его теплотою ферзь.

Зима еще пушилась снежным навесом в окне, но что-то успело измениться вокруг, и, если взглядеться попристальней, сквозь округлые сугробы внизу просматривались рябые от ветра талые лужи.

Вошла в комнату толстая ведьма Наталья:

– Там к тебе тот, рыжий, пришел...

## Владимир Набоков



## Защита Лужина

### 1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец – настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, – вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». «Как хорошо... – сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. – Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето – быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, – все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но, только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монте-Кристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть «бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только шурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И сборные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, – расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, француженка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы, – которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, – нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, – и медленно, с возрастающим ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, – неуверенно ответил Лужин старший на ее предложение. – Скажу ему погода, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, – мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. – Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.



Он боялся, Лужин старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих ять, и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и, когда отец, старавшийся подобрать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («не ерзай так», опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слёз), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, – трепаный, теплый, с блестящими глазами, – спрыснул скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо-отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» – спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, от чего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», – сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащiku, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, – постоянное движение, почти тик, – посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина. «Лужин, – сказал он с деланной веселостью, – а, Лужин?» – и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлаг-

баум, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», – льстиво сказал Лужин старший, когда сын выпрыгнул из коляски и устался в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползли французенка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеклом в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда – белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилище, мужик колот дрова. Вдруг туман слёз скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, – отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвинулся очень быстро, сбежал по ступеням, – битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, – дальше овражек и сразу густой лес.

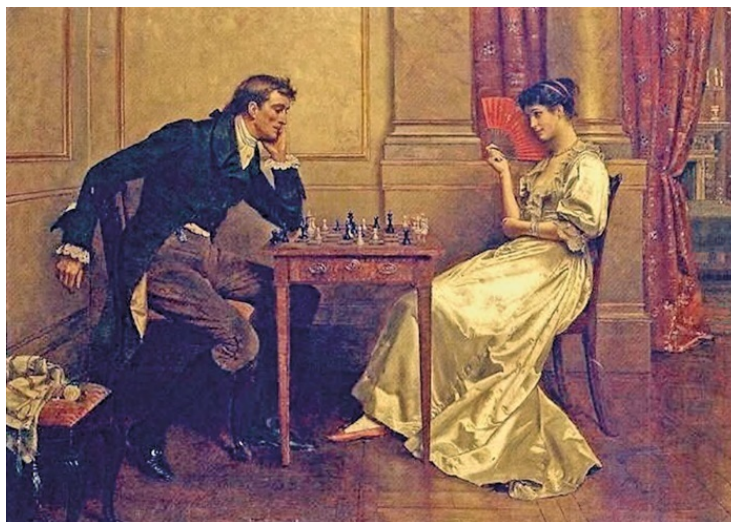
Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, – и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, – он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, – и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков, и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с французенкой, – всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, – никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался, – не столько потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, – и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки, – выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Кончено также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два – молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три – катание в открытом ландо. Возмен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поведившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять

минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени – дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалялся через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца матери, – черные баки, скрипка в руках, – смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, – печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездил вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибавшихся пониже, терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие, не очень занимательные вещи.



Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса – буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом, быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, – блестя лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобр буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и, почему-то, Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

2

Лужин старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, – а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений и продавались в крепких, красочных переплетках, – постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми, ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал, как тайное волнение таланта, и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что, в первое время ее существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами, – физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забредите, – сказал он в тот день, когда Лужин старший в первый раз привел сына в школу. – В любой четверг, около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой, многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор, как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости, – всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождетя, – он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное, бородатое лицо, с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегаёт на переменах... «Способности у мальчика несомненно есть, – сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, – но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, – и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, – сказал воспитатель. – Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он наконец вышел, – в длинном, сером пальто и каракулевым колпачке (который один и тот же детина постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и, когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин младший, уловив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно, и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шараясь от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел, – по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, – подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа, – сказал воспитатель на одном из первых уроков, – ваш новый товарищ – сын писателя. Которого, если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, – а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!» «А мы лучше каждому по кусочку дадим», – со смаком сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка, – ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партной крышки.



Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она, наконец, погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике, – руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, – совершенно не помню его лица... Ну, совершенно не помню...»

Но Лужин старший, около четырех посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, – говорил отец, – постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

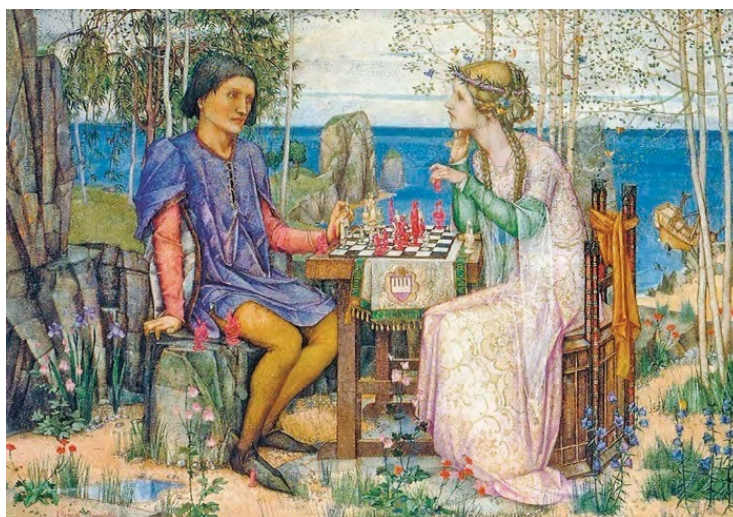
Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивая верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик, – хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин старший облакачивался на стол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина, – думал Лужин старший. – Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка, загадка...»

«Съешь хоть кекса», – горестно продолжал голос за стеной, – и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того, ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа

в руке перо, как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, – говорила она, не глядя на мужа, – он не хотел отвечать, – а потом, вот... как бешеный...» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных, рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», – и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоём будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат Паллада». Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги – обе, подаренные ему тетей, – которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бэккер-стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, – Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грез, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Холмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы «позвать твоих школьных друзей», не привели ни к чему, Лужин старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновьям которых учились в той же школе, а кроме того, пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, – радостно сказал Лужин старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). – Теперь вас оставят одних, – познакомьтесь, поиграйте, – а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенов и Розен сидели на диване, со сконфуженными лицами, очень красные и напوماженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже, когда на следующий день Берсенов и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, – даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, – что бы он ни

говорил теперь, брови у него мучительно сходились, – мать привезла ему из Гостиного двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно... И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений, в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.



В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где, под рубрикой «Общие замечания», пространно, с плеоназмами, говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» – по русскому языку – и несколько «едва удовлетворительно», – между прочим, по математике. Однако, как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий – всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, – в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но, при помощи линейки, он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии.

На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты петитер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не

ломающая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых, – «пузеля», как называли их у Пето, – вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладутся, – пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, – Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя, – и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь», и тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», – и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил, – мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины<sup>1</sup>, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

### 3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето – смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только в начале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты, – забвение было полное, тяжкое, безнадежное, – и жена с дрожащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом, белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», – со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас стал огромный», – сказал дамский голос сзади. Он спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, – загремело над его головой. – Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а напротив, очень маленький для

---

<sup>1</sup> Фрина – древнегреческая гетера, натурщица великих художников Праксителя и Апеллеса (IV в. до и. э.).

своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое место. Иногда кто-нибудь ловил его за плечо, спрашивал ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Незаметными переходами Лужин пробрался в отцовский кабинет, где было темно, и сел в угол, на оттоманку. Из далекой залы, через две комнаты, доносился нежный вой скрипки.

Он сонно слушал, обняв колени и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловой белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет, и на письменном столе была блестящая точка – неизвестно что: блик ли в тяжелом хрустальном яйце или отражение в стекле фотографии. Он чуть было не задремал и вдруг вздрогнул оттого, что на столе зазвонил телефон, и сразу стало ясно, что блестящая точка – на телефонной вилке. Из столовой вошел буфетчик, включил на ходу свет, озаривший лишь письменный стол, приложил трубку к уху и, не заметив Лужина, опять вышел, осторожно положив трубку на кожаный бювар. Через минуту он вернулся, сопровождая господина, который, попав в круг света, схватил со стола трубку, другой рукой нащупал сзади себя спинку кресла. Слуга прикрыл за собой дверь, заглушив далекий перелив музыки. «Я слушаю», – сказал господин. Лужин из темноты смотрел на него, боясь двинуться и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. «Нет, я уже отыграл», – сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. «Вероятно», – сказал господин. Лужин видел его профиль, нос из слоновой кости, блестящие черные волосы, густую бровь. «Я, собственно говоря, не знаю, почему ты мне сюда звонишь, – тихо сказал он, продолжая теревить что-то на столе. – Если только для того, чтобы проверить...» «Чудачка», – рассмеялся он и стал равномерно покачивать ногой в лакированной туфле. Потом он очень ловко подложил трубку между ухом и плечом и, изредка отвечая «да», «нет», «может быть», взял в обе руки то, что он на столе потрагивал. Это был небольшой гладкий ящик, который на днях кто-то подарил отцу. Лужин еще не успел посмотреть, что внутри, и теперь с любопытством следил за руками господина. Но тот не сразу открыл ящик. «И я тоже, – сказал он. – Много раз, много раз. Спокойной ночи, девочка». Повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик. Однако, он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. «Ты что тут делаешь? – спросил он, в темном углу разглядев Лужина. – Ай-ай, как нехорошо подслушивать!» Лужин молчал. «Как тебя зовут?» – дружелюбно спросил господин. Лужин сполз с дивана и подошел. В ящичке тесно лежали резные фигуры. «Отличные шахматы, – сказал господин. – Папа играет?» «Не знаю», – сказал Лужин. «А ты сам умеешь?» Лужин покачал головой. «Вот это напрасно. Надо научиться. Я в десять лет уже здорово играл. Тебе сколько?»



Осторожно открылась дверь. Вошел Лужин старший, – на цыпочках. Он приготовился к тому, что скрипач еще говорит по телефону, и думал очень деликатно прошептать: «Продолжайте, продолжайте, а когда кончите, публика очень просит еще чего-нибудь». «Продолжайте, продолжайте», – сказал он по инерции и, увидев сына, запнулся. «Нет, нет, уже готово, – ответил скрипач, вставая. – Отличные шахматы. Вы играете?» «Неважно», – сказал Лужин старший. («Ты что же тут делаешь? Иди тоже послушать музыку...») «Какая игра, какая игра, – сказал скрипач, бережно закрывая ящик. – Комбинации, как мелодии. Я, понимаете ли, просто слышу ходы». «По-моему, для шахмат нужно иметь большие математические способности, – быстро сказал Лужин старший. – У меня на этот счет... Вас ждут, маэстро». «Я бы лучше партию сыграл, – засмеялся скрипач, идя к двери. – Игра богов. Бесконечные возможности». «Очень древнее изобретение, – сказал Лужин старший и оглянулся на сына. – Ну, что же ты? Иди же!» Но Лужин, не доходя до залы, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сэндвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел, раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним, блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.

Он проснулся на следующее утро с чувством непонятого волнения. Было ярко, ветрено, мостовые отливали лиловым блеском; близ Дворцовой арки над улицей упруго надувалось огромное трехцветное полотно, сквозь которое тремя разными оттенками просвечивало небо. Как всегда в праздничные дни, он вышел гулять с отцом, но это не были прежние детские прогулки: полуденная пушка уже не пугала, и невыносим был разговор отца, который, придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой. За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще непочатый кулич. Тетя, все та же милая, рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, была весела чрезвычайно, кидалась крошками и рассказала, что Латам за двадцать пять рублей прокатит ее на своей «Антуанете», которая, впрочем, пятый день не может подняться, между тем, как Вуазен<sup>2</sup> летает, как заводной, кругами, да притом так низко, что, когда он кренится над трибунами, видна даже вата в ушах у пилота. Лужин почему-то необыкновенно ясно запомнил это утро, этот завтрак, как запоминаешь день, предшествующий далекому пути. Отец говорил, что хорошо бы после завтрака поехать на острова, где поляны сплошь в анемонах, и, пока он говорил, тетя попала ему крошкой прямо в рот. Мать молчала, – и вдруг, после второго блюда, встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя шепотом, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», – поспешно вышла. Отец бросил салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещевающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».

«Уйдем куда-нибудь», – зашептала тетя, красная, притихшая, с бегающими глазами, – и они оказались в кабинете, где над кожаным креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки. Она закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. Это был единственный человек, в присутствии которого он не чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то. «Ну, будем играть во что-нибудь, – поспешно сказала тетя и взяла его сзади за шею. – Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» «Ты в шахматы умеешь?» – вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, приятно потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав. «Лучше

---

<sup>2</sup> Латам, Губерт (1882–1912) – французский авиатор, пилот знаменитого моноплана «Антуанетта». Братья Вуазен – Габриэль (1880–1973) и Шарль (1882–1912) – французские инженеры и промышленники, первые во Франции наладили производство самолетов.

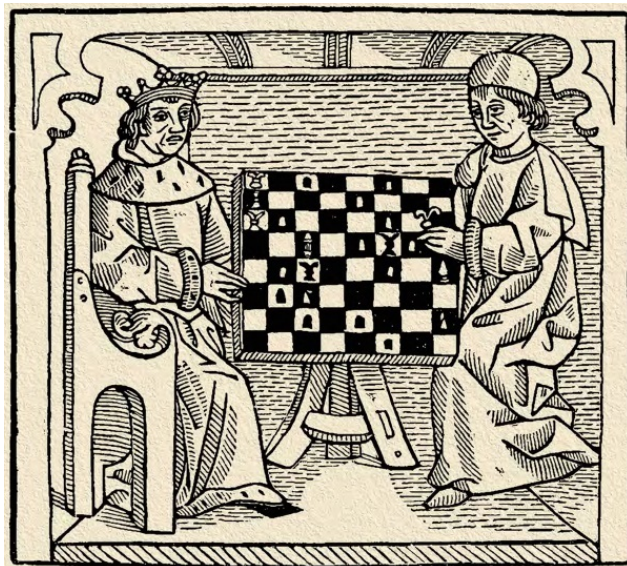
в дураки», – сказала она рассеянно. Где-то хлопнула дверь. Она поморщилась и, повернув лицо в сторону звука, прислушалась. «Нет, я хочу в шахматы», – сказал Лужин. «Сложно, милый, сразу не научишь». Он пошел к письменному столу, отыскал ящик, стоявший за портретом. Тетя встала, чтобы взять пепельницу, в раздумье напевая окончание какой-то своей мысли: «Это было бы ужасно, это было бы ужасно...» «Вот», – сказал Лужин и опустил ящик на низенький турецкий столик с инкрустациями. «Нужно еще доску, – сказала она. – И знаешь, я тебя лучше научу в поддавки, это проще». «Нет, в шахматы», – сказал Лужин и развернул клеенчатую доску.

«Сперва расставим фигуры, – начала тетя со вздохом. – Здесь белые, там черные. Король и королева рядышком. Вот это – офицеры. Это – коньки. А это – пушки, по краям. Теперь...» Она вдруг замерла, держа фигуру на весу и глядя на дверь. «Постой, – сказала она беспокойно. – Я, кажется, забыла платок в столовой. Я сейчас приду». Она открыла дверь, но тотчас вернулась. «Пускай, – сказала она и опять села на свое место. – Нет, не расставляй без меня, ты напугаешь. Это называется – пешка. Теперь смотри, как они все двигаются. Конек, конечно, скачет». Лужин сидел на ковре, плечом касаясь ее колена, и глядел на ее руку в тонком платиновом браслете, которая поднимала и ставила фигуры. «Королева самая движущаяся», – сказал он с удовольствием и пальцем поправил фигуру, которая стояла не совсем посреди квадрата. «А едят они так, – говорила тетя. – Как будто, понимаешь, вытесняют. А пешки так: бочком. Когда можно взять короля, это называется шах; когда ему некуда сунуться, это – мат. Ты должен, значит, взять моего короля, а я твоего. Видишь, как это все долго объяснять. Может быть, в другой раз сыграем, а?» «Нет, сейчас», – сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. «Ах ты, милый, – протянула тетя, – откуда такие нежности... Хороший ты все-таки мальчик». «Пожалуйста, будем играть», – сказал Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. Но она вдруг поднялась с места, да так резко, что задела юбкой доску и смахнула несколько фигур. В дверях стоял его отец.

«Уходи к себе», – сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты, остался от удивления, как был, на коленях. «Ты слышал?» – сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре упавшие фигуры. «Побыстрее», – сказал отец громовым голосом, каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как, класть фигуры в ящик. Руки у нее дрожали. Одна пешка никак не хотела влезть. «Ну, бери, бери, – сказала она, – бери же!» Он медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом, взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва было молчание, затем – скрип кресла, принявшего тяжесть, и прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал, что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате обольстительная, таинственная игрушка, пользоваться которой он еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним в гости.

Как-то, через несколько дней, между первым и третьим уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии. Когда прошло минут пять после звонка и никто еще не вошел, наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется, и географ, по привычке своей почти бегом, влетит в класс. Одному Лужину было все равно. Низко склоняясь над партой, он чинил карандаш, стараясь сделать кончик острым, как игла. Нарастал взволнованный шум. Счастье как будто должно было сбыться. Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо заболевшего учителя вползал маленький, хищный математик и, беззвучно прикрыв дверь, со злорадной

улыбкой начинал выбирать кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, из избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности возник воспитатель. «Совершенная тишина, – сказал он. – Чтоб была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина». Он ушел. За окном сияли большие, рыхлые облака, и что-то журчало, капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час. Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов рассказывал что-то хриплым голосом, со смаком произнося странные, непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко, и невпопад стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много лет спустя, старался вспомнить своего одноклассника, никогда не вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось что-то в памяти, но добраться было невозможно.



«Тура летит», – сказал Кребс. Лужин, следя за его рукой, с мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. «Я просто не заметил», – сказал другой. «Бог с тобой, переиграй», – сказал Кребс.

С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах, – говорил Кребс, – шах» – (и ужаленный король прыгал в сторону) – «сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. Шах, беру королеву, шах». Тут он сам прозевал фигуру и стал требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул Лужина в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.

И на следующее утро, еще лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, неся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец он увидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубыми тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил. «Еще спят, – сказала горничная, глядя на него с удивлением. – Побудьте, что ли, вот тут. Я им погода доложу». Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только однажды, – когда, по совету отца, отвез тете на Рождество большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел сам, а остальные разложил так, чтобы не было заметно. Тетя еще недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и аисты. Только он стал соображать, есть ли такие же аисты и на другой стороне, как, наконец, вошла тетя, – непричесанная, в цветистом халате, с рукавами, как крылья. «Ты откуда? – воскликнула она. – А школа? Ах ты, смешной мальчик...»

Часа через два он вышел опять на улицу. Ранец, теперь пустой, был так легкий, что прыгал на лопатках. Надо было как-нибудь провести время до часа обычных возвращений. Он побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепенно стала его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза; во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил, что впредь будет поступать иначе.

«Семейные обстоятельства», – ответил он на следующий день воспитателю, который мимоходом понаведлся, почему он не был в школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал часов пять. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск так близок, и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя отсутствия, – упоительная, одуряющая неделя. Воспитатель позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел отец.

Когда Лужин около четырех вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. После минуты замешательства, отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с тяжелым, драгоценным ранцем под мышкой, устался в пол, соображая, способна ли тетя на предательство. «Изволь мне объяснить», – повторил отец. На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался. «Отказы-

ваешься?» – спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает школу. «Ну, послушай, – сказал отец примирительно, – давай говорить, как друзья». Лужин со вздохом сел на ручку кресла, продолжая смотреть в пол. «Как друзья, – еще примирительнее повторил отец. – Вот, значит, оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я даже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». «Да, тянет», – равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина, семьянина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», – безнадежно сказал отец и, когда тот вышел, долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из соседней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он обманывает, – повторяла она, – как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо... а тут еще с сыном... эти странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и только.

#### 4

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходявшие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, – в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, – был незапертый книжный шкаф, и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где, между стихотворением Коринфского, увенчанном арфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвижающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том, – ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка, – заветный квадрат, этюды, дебюты, партии.



В начале летних каникул очень доставало тети и старика с цветами, – особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно, – через несколько минут после

того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», – говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», – в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько не брал я в руки... ну-с, молодой человек, – левую или правую?» – в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, – Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которой его научила тетя. Благоухание оведало доску. Старик называл королеву ферзем, туру – ладьей и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, – в этот день, после долгой, волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы. «Ну, что ж, ничья», – сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья. Вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потерябил, потерябил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете, – сказал старик. – Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу... Очень, очень далеко...»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.